

Кто звонит?

Звон, перезвон колоколов *supra urbem**, надо всем городом, в струящемся над ним воздухе, пересыщенном гудящими звуками! Колокола, колокола! Они с размаху, с разлету взмывают, взвиваются на станинах, на перекладинах в немолчной вавилонской разноголосице. Грузно и часто, гремя и трезвоня — не в лад, невпопад, они говорят все сразу, перебивая друг друга, перебивая самих себя: било ударяет о медь и, не дав умолкнуть разбуженному металлу, бьет, раскачавшись, уже о другой край толстостенного колпака и вторгается в свой же запев, так что не отгремело еще «*In te, Domine, speravi*»**, как уже раздается «*Beati quorum tecta sunt peccata*»***, а рядом слышатся хрустальные голоса малых звонниц, — будто служка потряхивает сладкозвучным своим колокольчиком.

Наверху звонят и внизу, в семи благодатнейших местах, известных паломникам, а равно и во всех приходских церквах семи епархий на обеих излучинах Тибра. Звонят с Авентина, с палатинских святынь и с Иоанна Богослова в Латеране, звонят над мо-

* Над Римом (*лат.*).

** «На тебя, Господи, я уповал» (*лат.*) — католическая молитва.

*** «Блаженны те, чьи грехи сокрыты» (*лат.*).

гилой «ходящего в ключах», на Ватиканском холме, со Святой Марии Маджоре, на Форуме, в Домнике, в Космедионе и в Трастевере, с Ара Цели, со Святого Павла за городской стеной, со Святого Петра-в-веригах, с храма Пресветлого Креста Иерусалимского. Но и с кладбищенских часовен, с колоколен ничем не славных церквушек и захудалых молелен — тоже звонят. Кому ведомы их имена и прозвания? Ветер, нет, истая буря, ударяясь о струны эоловой арфы, расшевелила весь мир звучаний и воссоединила в густой всегармонии голоса соседних и дальних колоколов, — так, разрывая воздух, несется благовест великого праздника и вожделенного Сретения.

Кто звонит в колокола? О нет, не звонари. Они высыпали на улицу, как и весь римский люд, услышав столь необыкновенный звон. Взгляните-ка: колокольни пусты, канаты свободно свисают. А все-таки колокола качаются и, гремя, ударяются о стенки била. Неужели мне скажут: никто не звонит? Нет, на это отважится разве лишь человек, ничего не смыслящий ни в логике, ни в грамматике. «Колокола звонят» — это значит: кто-то звонит в них, даром что колокольни пусты. Так кто же звонит в колокола Рима? — *Дух повествования*. Да неужто же может он быть повсюду, *hic et ubique*, к примеру сказать, на башне Св. Георгия в Велабре и где-нибудь у Св. Сабины, сохранившей колонны мерзостного капища Дианы, сиречь в сотне освещенных мест сразу? — Еще как может! Он невесом, бесплотен и вездесущ, этот дух, и нет для него различия между «здесь» и «там». Это ведь он говорит: «Все колокола звонят», так, стало быть, он сам и звонит. Такой уж этот дух духовный и такой абстрактный, что по правилам грамматики речь о нем

может идти только в третьем лице и сказать можно единственно: «Это он». И все же он волен спуститься в лицо, а именно в первое, и воплотиться в ком-то, кто говорит, и говорит от его лица: «Это я. Я — дух повествования, который, нашедши себе пристанище в библиотеке монастыря Санкт-Галлен в Алемании, где некогда сиживал Ноткер Косноязычный, повествует вам в забаву и в презрядное поучение эту историю; за начало же я беру ее благостный конец и звоню в колокола Рима, то есть сообщаю, что в тот день счастливого Сретения все они зазвонили сами собой».

Дабы, однако, и второе грамматическое лицо не осталось в обиде, задается вопрос: «Кто же ты, называющий себя «я», кто ты, сидящий за налойным столом Ноткера и воплотивший в себе дух повествования?» — «Я Клеменс Ирландский, *ordinis divi Benedicti!**, гость, по-братски здесь принятый и посланный моим настоятелем Килианом из монастыря Клонмакнау, ирландской моей обители, дабы поддерживать старые связи, что со времен Колумбана и Галла установились между моей родиной и этой надежной твердынею христианства. Великое множество очагов благочестивой учености и пристанищ муз посетил я на своем пути, таких, как Фульда, Рейхенау и Гандерсгейм, Санкт-Эммеран в Регенсбурге, Лорш, Эхтернах и Корвей. Но здесь, где услаждают нас очи псалтыри и евангелия, чудесно расписанные по пурпуру золотом и серебром с добавлением киновари, а также зеленой и синей красок, где братия, под началом отца-регента, поет так благолепно, как мне нигде не случалось слышать доселе, и где силы телес-

* Монах ордена Святого Бенедикта (*лат.*).

ные подкрепляешь отменными трапезами и, кстати сказать, преотрадным винцом, а поевши, с пользой для здоровья, прохаживаешься по монастырскому двору, вокруг водоема, — здесь я решил задержаться на более длительный срок, поселившись в одной из келий, всегда открытых гостям, куда внимательный настоятель, Гоцберт по имени, распорядился поставить для меня ирландский крест, на коем изображены агнец, обвитый змеями, *arbor vitae**, драконья голова с крестом в отверстой пасти, а также *Ecclesia***, собирающая в потир Христову кровь, тогда как диавол силится отхлебнуть из сего сосуда. Изделие это свидетельствует о раннем процветании художеств у нас в Ирландии.

Всею душой прилепился я к своей родине, богатому бухтами острову Св. Патрика, к его пастбищам, изгородям, болотам. Воздух там влажен, приволен, да и в монастыре нашем, Клонмакнау, жизнь тоже привольна, то бишь благоприятна для ученых занятий, обузданных умеренным воздержанием. Мы с настоятелем Килианом давно утвердились во взгляде, что Христова вера и любовь к изучению древних должны преодолевать людское невежество согласно и купно, ибо таковое равно презирает и веру и просвещение, а там, где пускает корни первая, непременно расцветет и второе. Ученость нашего братства и в самом деле очень высока, и, как мне сдается, выше даже, чем в среде римского клира. Иные римские монахи не в меру далеки от мудрости древних и подчас пробавляются поистине жалкой латынью — правда, не столь

* Древо жизни (*лат.*).

** Церковь (*греч.*).

пакостной, как немецкие, — один из коих, кстати сказать, августинец, недавно мне написал: «Habeo tibi aliqua secreta dicere. Robustissimus in corpore sum et saepe propterea temptationibus Diaboli succumbo»*. Это уже вовсе невыносимо, и по слогу и по всему прочему; разумеется, из-под римского пера такая мужицкая галлиматья никогда бы не вышла. Да и вообще не следует думать, будто я хочу бросить тень на Рим и его главенство, напротив, я мню себя верным их приверженцем. Спору нет, мы, ирландские монахи, всегда отстаивали независимость действий и во многих краях материка первыми проповедовали христианское учение, чем снискали себе чрезвычайные заслуги, воздвигая повсюду — в Бургундии и Фрисландии, в Тюрингии и Алемании — монастыри, сии бастионы веры и миссионерства. Однако это не мешало нам искони признавать епископа Латеранского главой христианской церкви, видеть в нем существо почти божественное и разве лишь место воскресения Господня почитать более, чем храм Св. Петра. Ведь можно сказать, не солгав, что церкви Иерусалима, Эфеса и Антиохии старше римской, и если Петр, чье имя, прославленное в веках, не хочется связывать с приснопамятным пением петла, и основал Римское епископство, чего никто не отрицает, то ведь это же самое бесспорно относится и к Антиохийской общине. Но такие соображения — не более чем побочные примечания к истине, истина же заключается в том, что Господь и Спаситель наш, как сказано у Матфея (и кстати только у него

* «Имею сообщить тебе некий секрет. Я весьма крепок телом и посему часто подвержен искушениям дьявольским» (*вульгарная, синтаксически германизированная латынь*).

одного), поначалу нарек Петра своим наместником на земле, а тот передал викариат епископу Римскому и поставил его главой надо всеми епархиями мира. Ведь в декретах и протоколах седой старины наличествует даже речь, которую произнес сам апостол при рукоположении первого своего преемника, папы Лина, и это представляется мне подлинным испытанием веры и вызовом духу: пусть-де явит свою силу и покажет, во что только он не способен уверовать.

В своей куда более скромной роли — служить инкарнацией духа повествования — я всемерно пекусь о том, чтобы читатель вместе со мной признал того, кто призван занять *sella gestatoria**, мужем, достойным высочайшего и благодатнейшего избрания. Знаком преданности моей Риму является уже и то, что я прозываюсь Клементием. Ведь изначальное имя мое — Моргольд. Но я никогда его не любил, усматривая в нем что-то дикое и языческое, и — вместе с монашескими ризами — облек себя именем третьего преемника Петра, так что в подпоясанной тунике и в наплечье пребывает уже не вульгарный Моргольд, а утонченный Клементий, осуществивший то, что св. Павел в послании «Ad Ephesios»** столь удачно назвал «облачением в нового человека». Нет, это уже не брэнное тело, шнырявшее по земле в камзоле оногo Моргольда! Цингулом препоясано тело духовное — плотское, стало быть, не настолько, чтобы признать вполне правомерным прежнее мое утверждение, будто нечто, а именно дух повести, во мне «воплотилось». Я вовсе не так уж и люблю этот глагол «воплощать»,

* Здесь — папский престол (*лат.*).

** «К эфесянам» (*лат.*).

ибо произведен он от «плоти», от брэнного тела, которое я снял с себя вместе с именем Моргольд, от тела, которое сполна является вотчиной сатаны и по воле его способно творить такие мерзкие пакости, что даже трудно уразуметь, почему оно к ним тяготеет. Правда, с другой стороны, тело есть то вместилище души и божественного разума, без коего таковые лишились бы всякого крова, а посему оно должно быть признано необходимым злом. На такое признание тело еще смеет притязать, более же восторженного оно в непотребстве своем поистине не заслуживает. Да и станет ли человек, взявшийся рассказать или обновить (ибо ее уже рассказывали неоднократно, хотя и не так, как должно) историю, которая изобилует плотскими мерзостями и ужаснейшими доказательствами готовности плоти ничтоже сумняся предаваться греху, — станет ли он бахвалиться тем, что сам является неким воплощением?

Нет, принявши мой образ и лик, образ инока по прозванию Клементий Ирландский, дух повествования сохранил изрядную долю бестелесной отвлеченности, позволяющей ему звонить одновременно со всех титулярных базилик города, и я сейчас поясню это двумя примерами. Читатель моей рукописи, чего доброго, и не обратил внимания, — а меж тем это стоило приметить, — что я указал ему на место, где нахожусь, а именно: монастырь Св. Галлена и налойный столец, но не сообщил, в какую пору, в которое лето от рождения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа я здесь сижусь, испещряя пергамент своим мелким и тонким, искусным и витиеватым письмом. Касательно сего не дано никакой отправной точки, ибо имя нашего здешнего настоятеля — Гоцберт —

таковую служить не может. Очень уж часто и в самые разные времена оно повторяется и слишком легко, буде за него ухватятся, превращается во Фридолина или даже Гартмута. Если же кто-нибудь, из озорства или ехидства, спросит меня: «Неужто ты сам знаешь где, но не знаешь, когда ты живешь?» — я на это отвечаю кратко: «А тут и знать нечего», ибо как олицетворение духа повествования я обладаю той отвлеченностью, вторую приметую которой сейчас поведаю.

Ведь вот я пишу, стараясь рассказать вам историю, одновременно ужасную и высоконазидательную. Но совершенно неизвестно, на каком языке я пишу: по-латыни ли, по-французски, по-немецки или по-англосаксонски, да и не все ли это равно, ибо если я сегодня, к примеру, пишу по-тиудиски, как говорят алеманы в Гельвеции, то завтра перейду на британскую речь и книга моя станет британской. Я отнюдь не хочу сказать, что силен во всех языках, но они сливаются друг с другом в моем письме и образуют единое целое — язык. Ибо так уж устроено, что дух повествования — это дух свободный до отвлеченности, и средством его является язык как таковой, сам язык, язык-абсолют, не желающий знать никаких наречий и местных языковых божеств. Иначе как раз и впадешь в политеизм и язычество. Ведь Бог есть Дух, и слово превыше всех языков и наречий.

Одно несомненно: пишу я прозу, а не стихи, каковые и вообще не очень-то жалую. В этом отношении я следую за императором Каролусом, который был не только великим законодателем и судьей народов, но также покровителем грамматики и ревностным поборником чистой, правильной прозы. Иные, правда, утверждают, будто только размер и рифма способны

создать строгую форму, но мне невдомек, почему это поскоки на трех-четырех ямбических стопах, к тому же не обходящиеся без всяких там дактилических и анапестных спотыканий, да еще в придачу забавные созвучия в конечных словах — строже по форме, чем складная проза с ее куда более тонкими и тайными ритмическими обязательствами, и начни я:

Жил князь, потме* Гримальд, и жил.
Но вот удар его хватил.
Достались детям дом и власть.
Ах!**, грешили дети всласть!

или в подобном роде — неужто сие строже по форме, чем грамматически добротная проза, в которой я сейчас и поведу рассказ о великой милости Божьей, причем изложение мое будет настолько сильно и ярко, что еще немало потомков: французов, англов и немцев — смогут черпать отсюда и строить на этом свои вирши.

Ну, а теперь от присказки к сказу.

Гримальд и Бадугенна

Жил некогда герцог Фландрии и Артуа, Гримальд по имени. Его меч назывался Элесакс. Его кастильский конь носил кличку Гуверйорс. Не было, казалось, князя на свете, о коем Господь пекся бы благосклоннее, и взгляд Гримальда смело облетал его наследные земли с богатыми городами и сильными крепостями, достойно и строго покоился на

* По имени (фр.).

** Увы, ах (старофр.).

его *maisnie** и оруженосцах, на скороходах, поварах и поварятах, на трубачах, скрипачах, барабанщиках и флейтистах, на его свите — двенадцати юношах знатного рода и доброго нрава, в том числе двух молодых сарацинах, над идолом которых, Магометом, запрещалось глумиться их товарищам христианам. Когда он с женою своею, Бадугенной, благороднейшей дамой, шествовал в церковь или к торжественной трапезе, эти пажи, в пестрых чулках, прыгали впереди них, попарно держась за руки и скрещивая ноги.

Его родовым замком, где большей частью и находился двор герцога Гримальда, был Шастель Бельрапейр, на высотах питавшей овец Артуа, словно выточенный на токарном станке, если взглянуть издали на его крыши и балконы, на предмостные укрепления, стены и башни замка, надежного убежища, каковое и должен иметь князь на случай нашествия лютых врагов извне, а равно и на случай злых смут среди собственных подданных; убежище это было к тому же удобно для жилья и приятно для глаза. Сердцевиной замка был высокий донжон, прямоугольный, с роскошными внутренними покоем, скрытыми, впрочем, не только в жилой башне, но также во многих пристройках и внутренних флигелях вдоль стены, а из зала донжона шла прямая лестница вниз, на крепостной двор, к лужайке, где за прочной каменной изгородью стояла тенистая липа. На скамье, опоясывавшей дерево, герцогская чета часто сиживала в летние дни на подушках из галапского и дамасского атласа, а в ногах у князей, на коврах, разостланных челядью по холеной траве, изящными группами

* Домочадцы, дружинники-рыцари (*старофр.*).

располагалась знать, чтобы послушать правдивые и вымышленные сказы менестрелей, которые, перебирая струны, повествовали об Артуре, владыке всех бриттов, о короле хорошей погоды Оренделе, о том, как поздней осенью он терпит жестокое кораблекрушение и становится рабом ледяного великана, о битвах рыцарей-христиан с диковинно-отвратительными племенами таких отдаленных земель, как Этноза, Гильстрам или Ранкулат: журавлиноголовыми, лобоглазыми, плоскостопыми, пигмеями и гигантами; о необычайных опасностях Магнитной горы и о том, как хитростью отбирают у грифов червонное золото; о богословском споре между святым Сильвестром и неким иудеем перед лицом императора Константина: иудей прокричал в ухо быку имя своего бога, и бык, бездыханный, свалился наземь. Но тут Сильвестр призвал Христа, и бугай снова встал на ноги и громовым рыком провозгласил превосходство истинной веры.

Но все это только примера ради. Вообще же тут задавали друг другу хитроумные загадки и вели непринужденные беседы, полные смысла и *cortaisie**, так что воздух не раз оглашался веселым смехом кавалеров и дам.

Я, со своей стороны, тоже готов рассмеяться, если кто подумает, что по вечерам верхний зал освещали дымящие факелы из соломы или лучины. Как бы не так! С потолка свисали паникадила, густо усеянные мерцающими свечами, а по стенам сияли десяти-свечные подвесные шандалы. Было здесь два мраморных очага, где сгорали сандал и алоэ, а каменный

* Придворная галантность, куртуазность (*старофр.*).

пол покрывали широкие ковры, которые в особых случаях, когда, скажем, князь Канволейский или король Анжуйский — *bien soi venu, beau Sire!** — гостили у герцога, усыпались еще хворостом, листьями ситника и цветами. За трапезой господин Гримальд и госпожа Бадугенна сидели в креслах с подушками арабского ахмарди, а напротив сидел их капеллан. Барды садились в самом низу стола или же располагались вместе с подлым людом за отдельным столом, а более почетные гости за четырехместными откидными столиками с белыми скатертями, и пажи, по четыре за каждым, склоняя колена, подносили золотые рукомойники и полотенца пестрого шелка. Яства были поистине княжеские: и цапли, и рыба, и бараньи котлеты, и птица, пойманная в рощице, и жирные карпы. Ко всякому блюду пажи подавали перец и аграс (я имею в виду фруктовый соус) и усердно, с раздумяннвившимися лицами (ибо они сами выпивали за дверью), наполняли кубки вином, и туговой настойкой, и красным синопелем, и пряным прозрачным напитком — кларетом, каковым особенно охотно и часто орошал горло господин Гримальд.

Не стану больше расхваливать чудесную жизнь в Бельрапейре, хотя было бы грешно умолчать, что лари здесь ломились от холстов и штофов, от редкостного бархата и шелков, от куньих и душистых собольих шкурок; что полки и поставцы сверкали прекрасной ассагаукской посудой: чашами, выточенными из драгоценных камней, и золотыми бокалами; что выдвижные ящики едва вмещали запасы благовоний, которыми окуривали покои, усыпали ковры и опры-

* Добро пожаловать, сир! (*старофр.*)

скивали ложа, — трав и корней, амбры, териаки, гвоздики, мускуса и кардамона; что в тайниках в великом обилие хранилось золото — кавказское, вырванное прямо из когтей у грифов, ожерелья, браслеты, а сверх того еще отдельно всякие чудодейственные камни: карбункулы, ониксы, халцедоны, кораллы и как они там называются: агаты, сардониксы, жемчуга, малахиты и алмазы, что склады и кладовые были битком набиты благородным оружием, кольчугами, нагрудниками и щитами из Толедо, что в испанской стороне, доспехами для воинов и коней, ковертюрами, сбруей, седлами и уздечками с бубенцами, и что стойла, загоны, закуты и клетки были переполнены лошадьми и собаками, учеными соколами, ястребами-перепелятниками и говорящими птицами.

Однако довольно расхваливать! И то ведь не шутка надлежало разместить столько похвал и сдержать их уздой грамматики. По-княжески, как видите, проводили свои дни господин Гримальд и госпожа Бадугенна, вызывая восхищение всего христианского мира, щедро благословенные всеми земными благами. Так значится в анналах, а далее значится: «Для счастья их недоставало лишь одного». Жизнь человеческая течет по избитым образцам, но она стара и косна только в словесном обличье, сама же по себе она всегда нова и молода, если даже рассказчику ничего не остается, как наделять ее старыми словесами. Лишь одного, вынужден я повторить, недоставало для полного их счастья — детей, и сколь часто случалось видеть, как супруги, рядышком, опускали колени на бархатные подушечки и, воздев руки горе, слезно просили о милости, им не отпущенной! Мало того, во всех церквах Фландрии и Артуа что ни воскресенье с ам-